

Изучение ленинградской блокады в течение долгого времени складывалось непросто. Как во время осады, так и после неё город продолжал оставаться в блокаде информационной. Известия из осаждённого города – от писем до кинофильмов – строго цензурировались. В самом Ленинграде было опасно даже вести дневник. В течение многих послевоенных лет документальные, материальные свидетельства, память об осаде находились под запретом. В 1949 г. был уничтожен Музей обороны и блокады, в том числе множество документов личного происхождения, хранившихся в нём. Позднее продолжали действовать жёсткие политические, идеологические ограничения. С большими трудностями сталкивались учёные, которые пытались уточнить количество жертв осады (В.М. Ковальчук и Г.Л. Соболев). Авторам знаменитой «Блокадной книги» пришлось преодолевать мощное сопротивление при попытке опубликовать своё произведение.

Ещё во время войны Ленинградский институт истории ВКП(б) собрал богатую коллекцию дневников и стенограмм воспоминаний блокадников. Однако эти документы оказались невостребованными. Причину этого С.В. Яров видит в идеологическом контроле и самоцензуре учёных. Думается, дело было ещё и в предвзятом отношении исследователей к такого рода документам, которые не принимались во внимание в силу их субъективности. По словам одного из авторов «Блокадной книги», Д.А. Гранина, он не сразу осознал важность изучения блокадной темы: «Когда ко мне в семьдесят четвёртом году приехал Алесь Адамович и предложил писать книгу, записывать рассказы блокадников, я отказался... Ну что такое блокада? Ну, голод; ну, обстрел; ну, бомбёжка; ну, разрушенные дома. Всё это известно, ничего нового для себя я не представлял. Он долго меня уговаривал.... Наконец, поскольку у нас были давние, дружеские отношения, он уговорил хотя бы поехать послушать рассказ его знакомой блокадницы»³².

Так было положено начало антропологически ориентированной блокадной истории, главным в которой стало обращение к уникальной и одновременно типичной судьбе обычного человека. Примерно четверть века назад отечественные исследователи обратились к проблеме человека на войне, результатом чего стало формирование в российской историографии нового направления: военно-исторической антропологии, зачинателем и пропагандистом которого стала Е.С. Сеньявская. Обращаясь к опыту изучения истории блокадного города через человека, нельзя не вспомнить и творчество писателя, литературоведа Л.Я. Гинзбург. Пройдя через блокаду, она сумела удивительно точно и проникательно проанализировать реалии осады. Кстати, и этому талантливому учёному было далеко не просто пробиться к читателю со своими «Записками».

В центре внимания С.В. Ярова – характер взаимоотношений людей, находящихся внутри трагедии «смертного времени», причём и тех, кто страдал и умирал от голода, и тех, кто на нём обогащался. Книга посвящена самому страшному периоду блокады, когда особенно ясно проявлялись в человеке высокое и низкое, сила и бессилие, глубоко нравственное и аморальное. Описание и подробное толкование того, как блокадники узнавали самих себя, самых близких людей – важное достижение автора. Прежде в научной литературе не предпринималось такого масштабного и систематического описания того, что

³² Адамович А.М., Гранин Д.А. Блокадная книга. СПб., 2013. С. 6.

происходило с обычным человеком во время осады. Важно также, что историк не оставляет своего читателя один на один с самыми тяжёлыми страницами истории осады, помогает их понять. Он не пугает, а призывает разобраться, ведёт читателя по аду ленинградской блокады, терпеливо и скрупулёзно объясняя её реалии. «Блокадная этика» притягивает именно своей человечностью. Думаящему читателю книга говорит не только о людях, оказавшихся в трагических обстоятельствах, но и о нём самом. Вторя уже упомянутому Д.А. Гранину, который пишет, что во время работы над «Блокадной книгой» они с А.М. Адамовичем заболели, Яров отмечает в самом начале своего сочинения: «Любой человек, приступающий к описанию блокадной этики, испытывает сильнейшее эмоциональное напряжение... холодное, бесстрастное повествование о ленинградском кошмаре 1941–1942 гг. невозможно» (с. 5).

Историк не стал привычно писать лишь о героизме и самопожертвовании. Справедливо считая блокадную повседневность, какой она предстаёт перед нами со страниц дневников и писем, крайне бесчеловечной и жестокой, автор книги не видит её одномерной. Более того, на основании множества свидетельств он указывает на важные нюансы в поведении и оценках блокадников, которые, например, оправдывали воровство, отделяя тех, кто получил обходным путём лишний кусок хлеба, от того, кто кусок хлеба использовал для наживы, унижая и обирая голодных (с. 165–166). Нередко историк приходит к неожиданным и точным суждениям, утверждая, что в распаде человека в «смертное время» есть что-то неизбежное (с. 50), а жестокость являлась необходимым условием спасения людей (с. 209). В самом деле, привычные моральные нормы действовали в условиях города-фронта необычно или порой отменялись. Согласно многим сохранившимся свидетельствам, в блокадном Ленинграде было опаснее, страшнее, чем на фронте. Опасность погибнуть от снаряда и бомбы подстерегала здесь повсюду, но главной была постоянная угроза гибели от голода. Следствием этого на пике блокады становилось глубокое безразличие, апатия к бомбам, смерти близких людей, собственной гибели.

Парадоксальным образом, повествуя о самом страшном – разрушении моральных норм, книга Ярова оказывается глубоко гуманистичной. Автор пытается понять и объяснить поведение блокадников. Например, тех погибших от дистрофии, у кого обнаруживались припасы, что вызывало у других горожан недоумение и презрение (с. 67). Комментируя поведение подростков, вырывавших у других блокадников хлеб прямо в булочных и магазинах, и даже тех, кто грабил, воровал, мародёрствовал, Яров приходит к самым печальным выводам о последствиях привыкания к таким поступкам (с. 75, 76). Фиксируя же проявления порядочности, приобретавшей в условиях смертельного голода особое значение (например, возвращение потерянных продовольственных карточек), он отмечает, что таковые были крайне редким явлением (с. 85, 86). Исследователь совершенно справедливо отмечает, что один и тот же человек способен был едва ли не одновременно совершать поступки благородные и бесчестные (с. 77). Глубокий анализ дневниковых записей блокадников позволил ему выявить характерные поведенческие ситуации, которых сами авторы дневников «не замечали» – поведение не устоявшего перед искушением главного врача поликлиники или заведующего райздравотделом, питающегося в яслях (с. 120). Яров точно описывает и объясняет неприязнь и даже ненависть блокадников к тем, кто внешне выглядел не так, как они, был упитан, или, напротив, предельно истощён (с. 110, 111).

Историк всегда на стороне обычного человека. Не раз он задаётся тяжёлыми вопросами о моральной цене поступков ленинградцев, в том числе тех, кто руководил городом. И здесь ситуация не была одномерной. Яров обнаруживает беспокойство о страдающих горожанах, в частности, в поведении ректора ЛГУ А.А. Вознесенского, заместителя председателя СНК СССР А.Н. Косыгина. Однако чаще он констатирует бессердечие руководителей, их нежелание говорить и знать правду о блокаде. Но и в этом случае в суждениях Ярова нет заданности. Так, говоря о председателе Ленгорисполкома П.С. Попкове, он отмечает в его поведении сочетание привычного бюрократического отношения к людям и эмоциональной человечности (с. 425, 427, 429).

Следует иметь в виду, что правдивое, свободное от мифологизации слово о ленинградской осаде не находило, а часто и сегодня не находит отклика у самих блокадников, причём не только у руководителей, но и у обычного человека, поскольку в его личном опыте «такого не было». В этих случаях действует цензура памяти: сознание блокадника инстинктивно отталкивает, отстраняет от себя «излишне» мрачные, кажущиеся вульгарными и даже оскорбительными описания поведения ленинградцев. Это понятная, объяснимая реакция, впрочем, характерная не для всех переживших блокаду.

Порою кажется, что Яров не видит иного определяющего существование мотива помимо обладания едой, выживания любой ценой. Между тем в городе были и люди, жившие иным: например, знаменитый художник П.Н. Филонов – подлинный интеллигент, человек удивительной скромности и непритязательности. Уважение к моральному закону было для таких людей единственной мотивацией действий. Большинство горожан не могло следовать такой аскетичной позиции – это было слишком трудно. Но подобное поведение являлось внутренним социальным эталоном для многих ленинградцев, которые не ловчили, не просили... а умирали.

Возникает резонный вопрос: не конструирует ли Яров, интерпретируя мысли и действия людей, переживавших муки ада, новую мифологию блокады? Думается, что учёному удастся избежать этого. Вдумчиво препарировав огромный массив свидетельств блокадников, проверяя их сведениями из иных источников, он сумел вычленив в них чрезвычайно важный нравственный смысл ленинградской осады. «Блокадная этика» открывает нам новую, и в значительной мере неизведанную, трудную для понимания тему. Это не просто новая публикация в огромной историографии блокады, но и взгляд в совершенно новой плоскости на существование людей в условиях катастрофы.

Олег Лейбович: Презумпция человечности

Для С.В. Ярова, исследующего нравственные ориентиры ленинградцев в экстремальных условиях блокады, как кажется, ближе исследовательская стратегия, развиваемая в работах социологов феноменологической школы (А. Шюц, П. Бергер, Н. Лукман и др.). В повседневности, или, по-другому, в жизненном мире людей, выстроенном совместными усилиями относительно устойчивых сообществ, особую роль играют образы, ценности, неписанные нормы, которые позволяют им считать этот мир своим. При этом люди, погружённые в повседневность, не имеют ни потребности, ни возможности для рефлексии над ней. Основы жизненного мира представляются им незыблемыми; правила человеческого общежития – простыми и естественными;